

ТОМ НЕЙРН

От гражданского общества к гражданскому национализму:

Эволюции мифа¹

Философское, политическое и этическое понятие «гражданского общества» стало сегодня одной из наиболее популярных и влиятельных идей. Но так было не всегда. Еще недавно «гражданское общество» фигурировало в основном в академических дебатах и обсуждалось теми, кого интересовало его происхождение и создатели — шотландское Просвещение, Гегель или политическая идеология марксизма (включая труды и дни Антонио Грамши).

«Само словосочетание не вызывало живого отклика или воодушевления», — отмечает поздний Эрнест Геллнер в своей последней книге «Условия свободы».² Тем не менее, сама книга — что удивительно для того, кто был очень чуток к живым откликам — была вызывающим воскрешением и повторным утверждением «гражданского общества». Всего за несколько лет, объясняет он, эта идея избавилась от библиотечной пыли и превратилась в «сияющий символ» (или что-то в этом роде). Он хотел сделать важное идеологическое заявление, которое вызвало бы отклик, прежде всего, в Восточной Европе, в которую он вернулся. Ближе к концу книги он даже говорит, что гражданское общество является более важным идеалом, чем демократия.

Пытаясь проанализировать, символом чего является «гражданское общество», мне также придется разъяснить и изложить собственное видение этой идеи. Я утверждаю, что странное возрождение этой идеи было в целом незаслуженным. Она вновь должна быть погребена под слоем пыли (и это уже происходит). «Гражданское общество» — это в лучшем

¹ Nairn T. *Faces of Nationalism: Janis Revisited* Ed. London and New York: Verso, 1997, p. 73–89.

² Геллнер Э. *Условия свободы: гражданское общество и его исторические соперники*. М., 2005.

случае некая переходная идеология, способ пересечения — пусть и неуверенного — мостика от континента времен «холодной войны» (1950–1989) к нынешнему состоянию. При этом неизбежно возникает соблазн увековечивания обстоятельств этого перехода, как это делает Геллнер в своей книге. Надо сказать, у меня нет большого желания вступать в споры относительно точного описания этого нового габитуса: постсовременности, постистории, постнационального государства или пост-всего, что вызывает у нашего профессора наибольшее отвращение.

Геллнер считает реанимацию гражданского общества в основном следствием упадка марксизма. Выказывая огромную неприязнь к последнему, он склонен отдавать предпочтение первому, возможно, даже вопреки здравому смыслу. Испытав действительно глубокое влияние со стороны марксизма (можно даже сказать, «переев» его), он всегда решительно выступал против политического марксизма или ленинизма. Воскрешение гражданского общества позволяло ему еще раз осудить последний, получив от этого особое удовлетворение. Но при этом он поддерживал и выступал за альтернативу. На практике это стало возможно только после его возвращения в Прагу и участия в работе Центрально-европейского университета Джорджа Сороса. Эта академическая инициатива, конечно, была призвана содействовать развитию гражданского общества или, в его попперовской версии, «открытого общества» по всей посткоммунистической Восточной Европе.

«Основная идея марксизм заключалась в том, что гражданское общество было обманом», — пишет он в самом начале.³ То есть представление о самостоятельном многообразии институтов, «противостоящих государству и уравнивающих его», считается историческими материалистами прикрытием действительного господства других социальных сил, особенно экономических. Именно они тайно осуществляют контроль над государством и всеми остальными институтами, делая их самостоятельность или независимость простым прикрытием, если не инструментом, детерминирующего влияния собственности. Крах в 1980-х годах большинства обществ, основанных на этом экономическом и редукционистском видении истории, привел, как утверждает он, к «новому видению». Это была освобождающая идея «гражданского общества». Исходное определение термина таково: «Совокупность неправительственных институтов, которые достаточно сильны, чтобы служить противовесом государству и не позволить ему подавить и атомизировать остальное общество».⁴

Непосредственная или интуитивная обоснованность этой идеи естественным образом вытекала из того, что люди в странах коммунистического блока на самом деле подавлялись и атомизировались авторитарными правительствами, верными старым заклинаниям: авангардная роль рабочего класса, пролетарский интернационализм, всемогущее экономи-

³ Там же. С. 21.

⁴ Там же. С. 25.

ческое планирование и, конечно, постоянное и ритуальное осуждение гражданского (или «буржуазного» и «мелкобуржуазного») общества.

Сейчас, вовсе не защищая этих священных заповедей или «измов», мне кажется, что марксисты были вполне правы насчет «гражданского общества» или, по крайней мере, насчет социологического понятия «гражданское общество». Они могли быть правы в этом вопросе, заблуждаясь в остальном, к тому же, как полагал Геллнер, ценой поддержки намного худших идей. Тем не менее, не было ошибкой считать, что современное возрождение *societas civilis, la société civile* было обманом в том смысле, что вовсе не означало того, что должно было означать. Точнее, оно просто является мифом. Какими бы общими ни были разговоры о нем, какой бы полезной ни была такая иллюзия в условиях посттоталитарного распада и реформы, «гражданское общество» не заслуживает такого теоретического и исторического превознесения.⁵

Экзорцизм автократии

«Гражданское общество» — это по сути своей реактивная идея. Она возникла и иногда казалась привлекательной в основном в чрезвычайных обстоятельствах или в моменты кризиса как способ изгнания определенной угрозы. Мыслители от Адама Фергюсона до Геллнера через Антонио Грамши, к которому я вернусь позднее, стремились описать гражданское общество как действительное или возможное положение вещей, социальную реальность, отличную и независимую от государства. Но мне кажется, что его реальные цели были идеологическими или полемическими. Его способность воодушевлять людей всегда возникала из его руководящей роли, его обличительного и дискуссионного посыла. «Гражданское общество» всегда было нацелено против идеи (обычно вызывающей страх и ненависть) сверхцентрализованного, бюрократически организованного и почти всесильного государства: Суверенного Государства (с больших букв), Левиафана или великого политического монстра, который неоднократно и зловеще возникал в истории, простирающейся от абсолютных монархий XVII–XVIII веков до послевоенных коммунистических автократий. «Тоталитаризм» был порождением XX столетия: Левиафаны, оснащенные новыми техниками контроля над телом и разумом и, в конечном итоге, военной технологией, позволявшей им в буквальном смысле слова стирать в порошок оппонентов.

Этимология подобных терминов всегда очень важна. Откуда взялась эта антитеза Левиафана — «гражданское общество»? Истоки его уга-

⁵ Краткое изложение идеи «гражданского общества» см., напр.: Krishan Kumar, 'Civil Society,' in *The Blackwell Dictionary of Twentieth-Century Social Thought*, Ed. William Outwaite and Tom Bottomore, Oxford, 1994, pp. 75–77. Подробнее об этом см.: Krishan Kumar, 'Civil Society: An Inquiry into the Usefulness of an Historical Term,' *British Journal of Sociology*, Vol. 44, no. 3, Sept. 1993, pp. 375–392.

дываются безошибочно. Идея может быть туманной, но при всем этом истоки ее ясны. Насколько мне известно, все трактаты, статьи, политические выступления и рассуждения об этом понятии сходятся в одном: оно впервые было разработано гэльскоязычным священником шотландской пресвитерианской церкви Адамом Фергюсоном.⁶ Он опубликовал «Опыт истории гражданского общества» в 1767 году. Это было описание восхождения человечества из состояния грубого неграмотного варварства к образованному и управляемому законами обществу, и оно подчас кажется ранней версией множества описаний перехода от «традиционного» общества к современному у Геллнера.

Как отмечает редактор одного из наиболее важных современных изданий «Опыта» Дункан Форбс, Фергюсон лучше многих знал, о чем он говорил:

«Опыт» был трудом человека, прекрасно знакомого изнутри с двумя цивилизациями (для его друзей из Шотландской низменности, конечно, существовала только одна), на которые была разделена в XVIII веке Шотландия: *Gemeinschaft* клана, принадлежащего прошлому, и *Gesellschaft* «прогрессивной» торговой Шотландской низменности.⁷

Долгая и выдающаяся (если не прославленная) карьера «гражданского общества» (книги и идеи) началась спустя двадцать один год после битвы за Куллоден. Фергюсону было двадцать три, когда в апреле 1746 года было окончательно разгромлено восстание Чарльза Эдварда Стюарта, а вместе с ним гэльскоязычная клановая культура, «традиционное общество» Пертшира, в котором он вырос. Фергюсон родился в небольшой деревушке Лоджирэй близ Питлохри во владениях главы местного клана герцога Атхолла. И по сей день все путешествующие по дороге Перт-Инвернесс могут насладиться видом прекрасной герцогской резиденции в Блэр-Атхолле. Там по-прежнему содержат последнюю частную армию Великобритании, выступающую на парадах по случаю праздников.⁸ Но, как отмечает Форбс, во времена, когда рос Фергюсон, было не до праздников.

⁶ Можно выдумать куда более амбициозную и широкую этимологию, простирающуюся до Возрождения и Аристотеля, но я не вижу в этом никакого иного смысла, кроме риторического. Я утверждаю, что, как и «национализм», «гражданское общество» принадлежит к эпохе Нового времени — от Просвещения и далее. Точно так же, как этническая и национальная политика существовала до появления абстрактного понятия современной нации, так и городское, торговое или состоящее из представителей «среднего класса» общество предшествовало своему концептуальному овеществлению; но в этом контексте важны именно абстракции.

⁷ Adam Ferguson, *An Essay on the History of Civil Society*, Ed. Duncan Forbes (1966); Фергюсон А. *Опыт истории гражданского общества*. М., 2000.

⁸ Недавно в новостях сообщили о вступлении в права наследования одиннадцатого герцога, южноафриканского инженера по имени Джон Мюррей. Командир сегодняшней «армии» Эндрю Гордон рассказал о «желании нового герцога сохранить традицию и оставить все, как есть». В самом начале бригада Атхолла (1689) заня-

Фергюсоны зависели от правящего рода, так как отец Адама получил приход в Лоджирэе благодаря герцогу. Его имя упоминается в позднем доносе Ганноверам о повсеместном якобитстве этой области в терминах, которые не нуждаются в пояснениях:

Пресвитерианские священники — единственные, кому мы можем доверять, и, рассказывая Вам об одном небольшом местечке, нельзя не упомянуть Атхолл, где священником служит Фергюсон из Лоджирэя; и если Вы соберетесь вешать людей без разбора, не повесьте по ошибке его.⁹

Позднее Адам подал прошение о занятии места своего отца в церкви Лоджирэя, но герцог отклонил его. Один из биографов утверждает, что отказ Фергюсона от церковной карьеры — и, возможно, его карьера как ученого и писателя — был вызван горечью этого разочарования.¹⁰

Фергюсон был лучше других знаком с военной стороной нового британского режима, хотя некоторые комментаторы не придавали этому большого значения. Он стал армейским капелланом и прослужил несколько лет в полку «Черная стража», созданном в 1737 году: один из первых вкладов Шотландии в развитие британской империи. Он побывал с ним в Нидерландах и принял участие в битве при Фонтенуа, вернувшись в Англию в 1745 году. Официальные опасения насчет лояльности полка резко усилились во время якобитского восстания, и от капеллана потребовали провести разъяснительную работу на гэльском. И это было сделано во время пребывания в Камберуэлле в речи, которая, по счастью, сохранилась; в 1746 году она была опубликована в переводе на английский с соответствующим напыщенным названием — «Проповедь, прочитанная на шотландском языке первому горскому полку Его Величества во время расквартировки в Камберуэлле, переведенная на английский благодаря любезности знатной шотландской дамы, по желанию которой она теперь увидела свет».

Первая публикация Фергюсона представляла собой жалкое зрелище. Его американский биограф Дэвид Кеттлер корректно ограничился замечанием, что проповедь была исполнена «патриотического пыла»:

ла сторону якобитов и была разбита при Куллодене. Позднее «горцы Атхолла» (преемницей которых и является сегодняшняя опереточная армия) были созданы только в 1775 году, а затем при королеве Виктории были превращены в XIX веке в церемониальную стражу. Поэтому такая показная традиция является, по сути, традицией возрожденного монархизма британской конституции (которая, конечно, получила бы одобрение Адама Фергюсона).

⁹ David Kettlet, *The Social and Political Thought of Adam Ferguson*, Ohio, 1965, p. 46 (здесь приводится цитата из письма полковника Йорка 1746 года: *Life and Correspondence of the Earl of Hardwicke*, Cambridge, 1913, Vol. 1, p. 500).

¹⁰ John Small, 'Biographical Sketch of Adam Ferguson,' *Edinburgh Review*, Vol. CXXV, no. 255 (1867). В «Очерке» Фергюсон отмечает, что феодальная знать могла создать «прочный, непреодолимый барьер, защищающий от общего деспотизма в государстве; но сами они с помощью своих воинственных вассалов повсеместно утверждали собственную тиранию, препятствуя установлению порядка и надлежащему применению закона» (Фергюсон А. *Опыт истории гражданского общества*. М., 2000, с. 161).

несколько панегириков в протестантско-ганноверском ключе, дополненных решительным осуждением «претендента», папства и голландцев. Хотя неизвестно, как была воспринята эта проповедь, Кеттлер признает, что «всю свою жизнь Фергюсон сохранял несколько покровительственное отношение к своим горским однокашникам и собратьям по оружию, никогда не разделяя их энтузиазма по поводу “старого доброго дела”».

Фергюсон родился в том же году, что и Адам Смит (1723), и прожил до 1816 года. После своей службы армейским капелланом он сменил Давида Юма на посту смотрителя библиотеки адвокатов в Эдинбурге (предшественница сегодняшней Национальной библиотеки Шотландии). Позднее он стал профессором в Эдинбурге и Глазго, а в революционную эпоху был «известен как распространитель взглядов вигов».¹¹

Морализм гражданского общества

После 1746 года угроза деспотизма и древняя *Gemeinschaft* догражданского общества исчезли, открыв путь для ганноверского прогресса, сельского огораживания и развития торговли и промышленности. Ко времени появления «Очерка» в 1767 году эти изменения стали вполне очевидными, а политическая уния с Англией — остававшаяся непопулярной в 1745 году, хотя она и была заключена в 1707 году поколением ранее, — получила более широкое признание. Конечно, некоторые, возможно даже большинство, из этих социально-экономических изменений могли произойти и при реставрированной династии Стюартов. Но то, как они произошли на самом деле, при общем укреплении и расширении 1688 года или союзном государстве, теперь оказалось на руку в длительном конфликте с Францией.

В таких исторических обстоятельствах и возникает «гражданское общество». Союзный договор установил особую форму политического устройства, которая позволяла шотландцам (но, конечно, не англичанам) дистанцироваться от государства путем создания различных действительно самоуправляемых институтов. Эти институты были традиционными и сложились задолго до слияния 1707 года, после которого собственный парламент и государство шотландского общества были упразднены. Теперь таким национальным институтам многонациональное государство, если можно так выразиться, давало дистанционные указания. Но эти указания не всегда были последовательными и иногда оказывались столь же открытыми для творческого истолкования, как и «Доска Уиджа»¹²: многие вопросы попросту никого не волновали (такая

¹¹ Лучшую краткую биографию Фергюсона см.: Jane Bush Fagg, 'Introduction,' *The Correspondence of Adam Ferguson*, Ed. by Vincenzo Merolle, 2 vols, Aldershot, 1995.

¹² «Доска Уиджа» или «Говорящая доска» представляет собой планшет с нанесенными на него буквами алфавита, цифрами и двумя словами («да» и «нет») и используется при проведении спиритических сеансов для получения «ответов» от вызванных душ умерших. — *Прим. перев.*

ситуация сохранялась до появления государства всеобщего благосостояния в XX веке). Правовая система, школьная и университетская система и церкви были предоставлены сами себе. Естественно, при таком порядке возможным было сосуществование множества самых различных вещей, вроде библиотеки адвокатов, которая упоминалась ранее, обществ, клубов, частных и пресвитерианских школ и разного рода ассоциаций.

Но этот перечень позволяет говорить о «гражданском обществе», размытом скоплением всего, что находится где-то между политикой и государственной властью, с одной стороны, и семьей — с другой.¹³ Пока все банально: никто не отрицает существования или значения таких институтов, но в каком смысле они образуют общую или корпоративную сущность, заслуживающую того, чтобы называться «гражданским обществом»? Насколько самостоятельными и независимыми были они от монархов, политиков, полицейских или администраторов? Идея «гражданского общества» всегда вызывала вполне оправданное недоумение. Но в шотландских условиях XVIII века ответы на такие вопросы были очевидными и напрямую связанными с повседневным опытом.

И это потому, что они были изложены в договоре об унии. Новый объединенный британский режим ограничивался «вековечным» обеспечением и поддержанием, неизбежно издали, существования этой совокупности институтов и органов, то есть прав шотландского субпарламентского или внеполитического общества, включая вопросы собственности, местного управления, коммерческого и гражданского права и так далее. Поэтому такая совокупность вещей сравнительно естественно воспринималась как обладающая общими чертами и автономная в том смысле, что повседневная жизнь не контролировалась государством. Общие черты были национальными; и нация теперь политически контролировалась извне, центром, который большинство считало далеким от себя. Здесь берет свой исток идея развитого или «гражданского» общества — «аполитичное» устройство, существующее независимо от политического вмешательства или предписанного государством закона и порядка и в то же время «автономное» в смысле саморегулирования и саморазвития. Эта идея, конечно, восходит в своих истоках к «Очерку» Фергюсона, ставше-

¹³ Позднее это стало гегелевским определением: совокупность надсемейных объединений, посредством которых происходит социализация индивидов. Изложение этой идеи Чарльзом Тэйлором см.: Charles Taylor, *Hegel*, Cambridge, 1975, pp. 431–438: «Одной только семьи было недостаточно для *Sittlichkeit* (второй природы или нравственности), ибо в ней человек несамостоятелен, а привязанность к общей жизни основывается не на разуме, а на одном лишь чувстве. Так что вне семьи человек находится в другом сообществе, где он действует исключительно как индивид. Это Гегель и называл гражданским обществом». Как замечает Тэйлор, экономические или рыночные отношения играют в этом «обществе» важную роль и во многом способствуют развитию капитализма. Лучшее из последних описаний жизни послефергюсоновской Шотландии, в котором содержится общее сравнение развития с другими небольшими европейскими обществами в XIX веке, предложено в работе: Lindsay Paterson, *The Autonomy of Modern Scotland*, Edinburgh, 1994.

му необычайно влиятельным текстом Просвещения. Его перевод не заставил себя долго ждать и изучался повсеместно наряду с «Богатством народов» Смита, в определенной степени оказавшись встроеным в ментальность новой политической экономии.

Но специфически национальное происхождение самой этой идеи не вошло в более широкий горизонт просвещенной мысли. На самом деле можно сказать, что оно было подавлено. Форбс говорит об этом так:

Нет ничего удивительного в том, что в «Очерке» не было прямых упоминаний о горских кланах: ничто не говорило о происхождении автора. Горское вдохновение было облачено в привычное одеяние: восхищение Спартой, противопоставление классического общественного духа и современного себялюбия, нравы американских индейцев и тому подобное.¹⁴

Фергюсон перелицевал свои идеи привычным для философов образом, рассматривая современное развитие сквозь линзы греко-римской античности и классических литературных предшественников. В этом смысле универсальность изначально была пропитана партикулярной и, в сущности, уникальной национальной дилеммой.

Как историческое обобщение, «Очерк» не выдерживает никакой критики. В Эдинбурге августовской эпохи не было ничего самостоятельного, автономного или волшебным образом аполитичного. Его необычное положение и культурные возможности возникли благодаря введению на государственном уровне устройства, предусмотренного договором об унии. Последний служил «писанной конституцией» Великобритании, ставшей затем ведущим государством в мире первоначальной индустриализации. Сам договор не был эманацией социально-экономического развития: он был побочным следствием вторжения в Англию и Шотландию Вильгельма III в 1688 году и одержанной им победы в Ирландии в битве на реке Бойн в следующем году. И даже тогда действительное выполнение его необычных условий удалось обеспечить только после решающей военной победы 1746 года, хотя якобиты продолжали отвергать договор и призывать к возврату к системе отдельных королевств и парламентов под одной короной, которая существовала до 1707 года.

Рассмотренное в таком свете, зарождение «гражданского общества» начинает казаться больше похожим на случайность: оно было связано с причудливым развитием отдельного национального общества на протяжении жизни одного поколения между Куллоденом и совершенно новым миром, созданным Великой французской революцией после 1789 года. Почти во всех описаниях «возникновения» или «рождения» гражданского общества такая частная история оставляется в стороне во имя обобщения. Этот феномен просто связывается в них со знакомой историей [шотландского] Просвещения: формирование образованного среднего класса, капиталистическое сельское хозяйство, зачатки про-

¹⁴ Forbes, op. cit., p. xxxix.

мышленности и предпринимательства, урбанизация и т. д. Но в действительности гражданское общество «возникло» в Шотландской низменности не в качестве естественного побочного следствия общего для всех закона развития. Оно было отражением особых исторических обстоятельств: институционального наследия предшествующего государства; новой, далекой и крайне коррумпированной государственной власти; а затем — после 1745–1746 годов — очередного военного поражения и подавления, за которым последовала неистовая колониальная и торговая экспансия. В таких обстоятельствах считавшей себя постнациональной интеллигенции Эдинбурга нравилось думать, что блага, которыми пользовалось ее общество, появились благодаря действию некой новой волшебной силы — саморазвивающейся, автономной и ничем или почти ничем не обязанной государству. На самом деле своим «самоуправлением» они были обязаны государству, хотя и не в выраженном напрямую виде: за всем шотландским Просвещением стоит политическое насилие и ответное насилие гражданских войн, кромвелевская оккупация и реставрация, а также Бойн и Куллоден. Но во второй половине XVIII столетия об этих вещах можно спокойно забыть.

Конечно, можно сказать, что такое стечение обстоятельств было не просто необычным, но и счастливым или даже благословенным. Юнионисты — от Кромвеля до Тони Блэра — всегда верили в это, как и Фергюсон, Смит, Юм и другие выдающиеся умы. Они ценили, что чужое либерально-парламентское правительство не проявляло интереса к шотландским делам, и считали его более предпочтительным, чем очередного местного и, возможно, слишком заинтересованного монарха. Но суть не в этом. Суть в том, что временные преимущества, которыми обладал Эдинбург, вряд ли могли появиться в других условиях. Ни одно другое европейское общество после 1789 года не пошло и не могло пойти по такому пути развития. В некоторых — весьма ограниченных — отношениях схожими обществами были отдаленные колониальные образования Австралии и Канады.¹⁵ Но в плане теории и мифа дело обстояло совершенно иначе. «Гражданскому обществу» здесь здорово повезло.

¹⁵ Писавший спустя шестьдесят лет сэр Вальтер Скотт рассуждал о «тихом пути» Шотландии — неполитическом или безгосударственном — к прогрессу: «Не будучи более объектом террора для британского правительства, Шотландия после 1750 года оставалась под опекой своих собственных институтов, найдя собственный путь к национальному богатству и процветанию» (Walter Scott, *Thoughts on the proposed Change in Currency*, 1826). Этот «тихий путь» был на самом деле ненационалистическим путем к современности. Обычно, как убедительно показал сам Геллнер, рычагом для развития служил политический национализм. (Ernest Gellner, *Thought and Change*, Chicago, 1975). Единственной серьезной попыткой построения модели, основывающейся на шотландском «зависимом развитии», по-прежнему остается модель историка Т. К. Смаута. Его полемику с Валлерстайном по этому вопросу см.: Smout, T. C., 'Scotland and England: Is Dependency a Symptom or a Cause of Underdevelopment?', *Review*, Vol. III, no. 4, Spring 1980, p. 601–630.

Эта история может быть рассказана иначе — с точки зрения национальной идентичности или национализма. Шотландское общество было таким же «национальным» (обособленным и «самобытным»), как и любое другое, но его необычная раннесовременная политическая история унии с сильным соседним государством привела к замыканию на себе или маргинализации этой идентичности и закреплению идеи (в основном иллюзии) относительно ее «типичности» или общезначимости — превращении в своего рода образец для развития.

Идеальной формой, которая сопутствовала «гражданскому обществу» и в каком-то смысле оправдывала его, был преобладающий морализм шотландских *философов*. Фергюсоновское «Гражданское общество» отчасти выросло из «Системы моральной философии» (1755) Фрэнсиса Хатчесона и «Теории нравственных чувств» (1759) Адама Смита, трактатов, в которых социальная природа человечества анализировалась на основе «симпатии» или, пользуясь более современным языком, неких определяющих и дополитических связей. С этой точки зрения, политическая экономия, развившаяся в теорию капитализма, выглядела куда более занимательной. Она воспринималась как эманация социальных условий, а не действия государства. Нация, отказавшаяся по договору от своего государства, также отказалась — или, по крайней мере, дистанцировалась — от привычного политического выражения самобытности и постоянной заботы об обеспечении, к примеру, своего короля и двора, недовольных землевладельцев или интеллигенции, стремящейся «быть не хуже других», и военной касты, тратящей богатство на оружие и показуху. Все это обычно сопутствовало развитию конца XVIII века и зарождению национализма. И преимущество первого «гражданского общества» состояло в том, что ему удалось обойтись без всего этого: необычная разновидность национального освобождения, в которой прогресс казался свободным от политических оков и препятствий. Но такая ситуация также была случайной, а не типичной, и в долгосрочной перспективе имела немало своих недостатков (к которым я вернусь позднее).

От антифашизма к антикоммунизму

Однажды возникнув, идея обрела свою собственную жизнь. У меня нет ни желаний, ни возможности проследить ее развитие до сегодняшнего дня через других теоретиков Просвещения, а также Канта, Гегеля, Маркса, Энгельса и их последователей. Но один из этих последователей особенно важен для нас: Антонио Грамши, этот «Алексис де Токвиль марксизма». ¹⁶ Он придал этой идее левый и революционный смысл в Италии 1920–1930-х годов. «Гражданское общество» изначально было либеральной

¹⁶ Kumar, op. cit., p. 381. Он ссылается на яркое описание американских гражданских объединений и их политической важности: Токвиль А. де. *Демократия в Америке*. М., 1992, с. 328–334.

идеей, направленной против угроз абсолютной монархии и клерикального обскурантизма, хотя часто с социально консервативным окрасом. Освобождение от тирании не предполагало надления толпы гражданством.

Но Грамши освоил и во многом переопределил эту идею. Он утверждал, что революционная политика должна иметь свое собственное, более широкое видение негосударственного, самостоятельного общества и более глубокие демократические социальные условия, при которых капитализм и классовое правление могут быть в конечном итоге преодолены. «Между экономическим базисом и государством с его законодательством и его аппаратом принуждения находится гражданское общество, и оно должно быть подвержено конкретным радикальным преобразованиям, а не только на бумаге», так что всякая новая государственная форма будет опираться на подлинную социальную и культурную «гегемонию», а не просто на силу и принуждение.¹⁷ Достижение действенной гегемонии зависит от продолжительной и постепенной «позиционной войны», отличающейся от впечатляющей политической или военной «маневренной войны», предпринятой большевиками в 1917 году. В западных условиях социалисты должны работать над подготовкой гегемонии прежде, чем перейти к взятию и преобразованию государственной власти. И если они потерпят провал в этом предприятии, они рискуют потерпеть поражение, подобное тому, что имело место в Италии в 1920-х — поражение от агрессивного национализма, упекшего Грамши в тюрьму до конца жизни.

В 1960–1970-х годах целое поколение новых левых мыслителей и активистов на Западе приветствовало такое возрождение «гражданского общества». Выросшие в условиях политической деградации и консервативного гнета «холодной войны», они открыли новую икону, явно недогматического и антиэкономистского предшественника, говорившего с ними в ироничном и часто саркастическом тоне, который заметно отличался от канцелярита официального марксизма-ленинизма. К тому же, у них были общие интересы: литература, неожиданная изнанка кажимостей, мелочи популярной культуры и моды, мир смыслов, различимых в небольших или непретенциозных феноменах. Все это не могло не показаться привлекательным поколению, пережившему революцию в социальной культуре и стилях жизни конца 1950–1960-х годов. И эта привлекательность во многом была связана с грамшианским представлением о «гражданском обществе» как о сфере, которая не только считалась, но и, возможно, действительно была важнее деятельности государства в практике Востока или устремлениях коммунистических партий Запады.

Хотя эта реакция вполне понятна, она также была ошибочной. Подобно тому, как появление философии гражданского общества было обусловлено плодотворным, но неверным пониманием Шотландии XVIII века, возрождение этой идеи «новыми левыми» XX века было связано с неверным пониманием Грамши, «Тюремных тетрадей» и межвоенной Италии.

¹⁷ Грамши А. *Тюремные тетради*. В 3 ч. Ч. 1. М., 1991, с. 308.

Отчасти эта ошибка была вызвана признанием — или слишком поспешным пересмотром — «гражданского общества» в качестве общезначимой категории. Особенности борьбы стесненного сардинца с агонией полуостровного национального строительства превратились, поколение спустя, в послание эпохи. Его героическое, хотя и зашифрованное осуждение итальянского фашизма, стало кодом для идеального отхода от коммунизма времен «холодной войны». И в ходе этого «гражданское общество» превратилось из «зонтичного» термина в своеобразное предписание: оно стало считаться необходимым условием для социалистической революции на Западе.

Забытым здесь оказывалось действительное представление Грамши об обществе. Независимое от государства общество не открывало себя заново или существовало само по себе, а было продолжением государства. Как отмечает Нил Хардинг в наиболее прилежном изложении грамшианства, социо-культурное многообразие на самом деле рассматривалось так подробно только затем, чтобы, в конечном итоге, избавиться от него:

Плюрализм гражданского общества должен быть преодолен именно потому, что он порождает множество возможностей для идентификации и увековечивает устаревшие идеи. Плотные и многообразные структуры гражданского общества, вовсе не будучи серьезным препятствием на пути амбициозного государства, согласно Грамши, представляли собой множество укреплений и оборонительных сооружений, которые необходимо было штурмовать и осаждать для достижения целостного (и, следовательно, единого) сознания и организации.¹⁸

Обстоятельства, при которых создавались «тетради», вынуждали обращаться к такому плюрализму и избегать открыто антигосударственной и антинациональной риторики. Но не нужно забывать, что целью всего этого было создание основы для стандартного пролетарско-интернационалистского государства времен III Интернационала: *il moderno principe* или радикально ленинистского государства, в котором общество должно было быть перестроено в соответствии с представлениями правящей элиты. Хардинг отмечает в заключении, что все догмы III Интернационала основывались на катастрофе Первой мировой войны, которая «расколола социализм и предопределила кончину II Интернационала». Тогда «рабочие собрались вокруг знамен, нация пошла на нацию, братоубийство истребило братство, а классовая борьба объявлялась приостановленной на время».

Такое поражение объяснялось в терминах «предательства». Моральное предательство требовало политики морального перерождения, которая, в свою очередь, требовала появления беспощадного Искупителя — современного Государя. В коллективной форме Партии эта радикальная сила призвана была восстановить классовую борьбу и сделать ее неуязвимой для дальнейших предательств, укоренившись в «гражданском обществе».

¹⁸ Neil Harding, 'Intellectuals, Socialism and Proletariat,' in *Intellectuals and Politics: From the Dreyfus Affair to Salman Rushdie*, Ed. J. Jennings and A. Kemp-Welch. London, 1997, p. 211.

Увы, радикальная сила также превратила Партию в Вождя, олицетворяющего будущее, но временно проживающего в Москве. Примечательно, что у Грамши были свои проблемы с Вождем, особенно в последние годы, проведенные в заключении. Это также заставляет нас, интеллектуалов, сформировавшихся отчасти в ходе процесса десталинизации, еще сильнее любить его. Но за разочарованием «грубой» русской гегемонией стояла более сильная воля к, по словам Хардинга, «превосходящей тактике и возвышенной цели» нового пролетарского Просвещения. Эта тактика требовала большего внимания к гражданской *специфике* общества, но для того, чтобы включить последнюю в стратегию универсальной цели.¹⁹

Такой универсализм — гордость интеллектуалов, но также их извечный соблазн.²⁰ Здесь, как часто бывало и раньше, происходит подавление или по крайней мере оттеснение чего-то жизненно важного для различных вещей, обычно подводимых под рубрику «гражданского общества». Общества различны: не впадая в метафизику идентичности, мне кажется возможным утверждать, что они «глубоко» различны в том смысле, что политико-культурные вопросы, поднимаемые партиями и интеллектуалами, неизбежно остаются различными или особыми. И такие «особенности» распространены повсеместно. К этим «особенностям» относится также множество вещей, которые мы называем национальными. Общепризнанно, что «национальное» также является разновидностью зонтичной категории, которая включает множество различных совокупностей или семей феноменов. Но я бы сказал, что оно покрывает преимущественно те вещи, которые оказываются необходимыми для действительного (а не желаемого) развития современности. Они могут и не быть «более важными», чем вера, семья и природа в каком-то вечном смысле; но по крайней мере в исторических обстоятельствах — в тех, в которых мы по-прежнему живем — они продолжают играть очень важную роль. Дело не в судьбе, крови или божественном предопределении; но «национальность» оказывается политически неизбежной. И, как буд-

¹⁹ В ранее опубликованной статье я критически рассмотрел истоки «интернационализма», его сложную функцию как альтернативной моральной программы и его полезность в духовной трансформации поражения. «Тюремные тетради» и «Письма из тюрьмы» Грамши также можно считать наиболее показательным изложением этих тем и примером благородства. Увы, эти добродетели прекрасно совместились с элитистскими пороками, описанными Нилом Хардингом.

²⁰ В 1987 году я принял участие в съемках документального фильма, посвященного пятидесятилетию со дня смерти Грамши (*Gramsci: All that Concerns People*, Pelicula Productions, Glasgow, Channel 4). Специалист по Италии Дэвид Форгакс задал тогда вопрос, почему мысль и личность Грамши приобрели такое большое влияние в Шотландии. На съемках ни я, ни продюсер Дуглас Иди не ответили по-настоящему на его вопрос, хотя, оглядываясь в прошлое, ответ кажется очевидным. Одна иллюзия питалась другой. Пристальное внимание Грамши к «гражданскому обществу» встретило естественный отклик в стране, имевшей деполитизированную историю. Только вместо Сардинии была Шотландия, а Муссолини мыслился как предшественник Тэтчер.

то мало нам было XIX и начала XX веков, она вновь напомнила об этом после 1989 года.

Но здесь я лишь повторяю за Эрнестом Геллнером. Прежде чем обратиться к гражданскому обществу в «Условиях свободы», он, как никто другой, убедительно показал причины возникновения и сохранения национализма. В этом смысле необходимо сказать, что дифференциация составляет сущность «гражданского общества». Но тогда, если мы говорим о «гражданских обществах» во множественном числе, не можем ли мы точно так же говорить о нациях, национальностях или странах в широком смысле?

Меха и малиновые пиджаки

Это подводит меня к моей основной мысли. Необходимо рассмотреть, каким образом произошло превращение «гражданского общества» в, если можно так выразиться, денационализированную общественную формацию, в которой абстрактная сторона просвещенческой мысли встретила или предположительно могла встретить необычайно доброжелательный отклик. За пределами Британии эта идея почти одновременно распространилась сначала в Германии, а затем по всей Центральной и Восточной Европе. Тем не менее, этот успех был искусственным и временным. Эпоху, которая наступила после 1789 года и продлилась до настоящего времени, обретя новую жизнь и силу благодаря событиям 1989 года, по праву можно назвать «эпохой национализма», а не эпохой восходящего гражданского общества.

Именно поэтому пыль с такой силой оседает на комментарии Геллнера. Гражданское общество появилось для борьбы с абсолютной монархией, но затем стало использоваться для преодоления или по крайней мере сдерживания политических последствий недемократической государственности или национализма (или того и другого вместе). В указанном контексте полезно само понятие неопределенности. Я не думаю, что попытки Геллнера сдуть пыль с этой идеи в «Условиях свободы» сделали ее более понятной; но, вероятно, такая задача просто невыполнима.

«Гражданское общество» — это также разновидность «интернационализма». Но годы «холодной войны» сделали политический интернационализм не самой привлекательной риторикой. С одной стороны, марксистско-пролетарский интернационализм неизбежно стал смешиваться с советско-русскими амбициями и чрезмерной государственной автократией. С другой стороны, либерально-демократический интернационализм сохранял неудобную связь с НАТО, остатками западноевропейской империи и неприятной американской гегемонии. Но тут вновь появилось более размытое и возвышенное понятие гражданского общества. Способно ли оно привлечь интернационалистов из среднего класса? Такую роль ему прочат те, кто неверно понимает Геллнера или прочитывает его односторонне. То есть все, кто убежден, что ограниченный или атавистический национализм повинен во всех затруднениях нового мирового порядка.

Очевидно, что простых призывов к формальной демократии как решению явно недостаточно, поскольку демократическое большинство может поддерживать нетерпимые националистические партии. В странах бывшей Югославии, как только народ получил возможность голосовать свободно, он проголосовал, прежде всего, за такие партии. На самом деле не очевидно, что избиратели, будь у них такая возможность, проголосовали бы и во второй раз точно так же. Их выбор также противоречил продолжительному опыту существования многоэтнического государства, которое одновременно и необдуманно отрицало демократию и притязало на разрешение всех этнических и национальных вопросов. Но это очень сложные вопросы. Диагнозы ставить легко и после 1989 года в них не было недостатка. И хотя в посткоммунистических условиях не было полноценной демократии, надежды на ее появление не исчезали. «Гражданское общество» вполне подходило на выполнение этой роли. Как можно было не замечать такую негосударственную культуру, своеобразную социальную «отмычку», которая делала демократические формы по-настоящему действенными? Несмотря на отсутствие автономной субполитической цивилизации, со стороны Атлантики как нельзя кстати появился новый, очищенный от пыли кандидат. Этот институциональный *Geist* должен был противостоять всем новым левиафанам или националистическим безумцам, вроде Милошевича и Мечьяра. Либеральное социальное доверие заменяло основанный на крови *этнос* и ненависть к Другому.

Это возвращает нас к обстоятельствам написания «Условий свободы» и миссионерской деятельности Центрально-Европейского университета в Центральной и Восточной Европе. Интернационализм всегда сочетался с моральным рвением, что никогда не устраивало самого Геллнера. Его обычным ответом на такие проявления, особенно со стороны националистов, были скептицизм и ирония. У него была убедительная теория национализма и объяснение притягательности. Но, к сожалению, у него не было сопоставимой теории интернационализма и его различных столпов. Обычно он использовал «Мегаломанию» в качестве риторического противопоставления образцовой неонационалистической земле «Руритании» (полной пророков, паранойи, поэзии, полиции и подцензурной печати). Но преступления Габсбургов и Виндзоров на деле казались не такими значительными. Геллнера привлекала не универсалистская болтовня и претенциозность, а скорее приземленный индивидуализм бравого солдата Швейка. В этом смысле я подозреваю, что «гражданское общество» всегда было для него «землей Швейка», страной, где простые люди не мытьем, так катаньем могли получить, в конечном итоге, власть получше.

Этот гашековско-оруэлловский тон точно также сквозит во многих трактатах и проповедях о гражданском обществе, появившихся с середины 1980-х годов. Мы видели ранее, как «гражданское общество» зародилось в среде всепроникающего морализма и интереса к основам человеческой симпатии и доверия. Все эти мотивы вновь всплыли с возрож-

дением идеи. Например, книга Джона Холла «Гражданское общество: история, теория сравнение» начинается со слов:

Гражданское общество оказалось в центре общественного внимания в результате попыток установить правила приличия в обществах, где их отсутствие ощущается острее всего. Гражданское общество считалось противоположностью деспотизма, пространством, в котором социальные группы могли существовать и развиваться — чем-то, что обеспечивало и гарантировало более мягкие, более терпимые условия существования.²¹

И она завершается довольно отчаянным переопределением этого пространства Сальвадором Гинером как чего-то находящегося в осаде на самом Западе вследствие совместного наступления технологии и демократии. Под этим углом зрения гражданское общество представляет собой «сферу того, что является сравнительно, но автономно частным в современном государстве». Но такая частность гарантирована далеко не везде. Следовательно,

Завтрашние граждане должны сознавать, что зачастую правители в наших обществах не верят на самом деле в их достоинства и сильные стороны, хотя они вынуждены публично отдавать им дань уважения. Ибо многие из тех, кто продолжают говорить о необходимости цветущего гражданского общества, активно способствуют наступлению серого мира, в котором, если им удастся добиться успеха, в нем не будет никакой нужды.²²

Речь идет о его гибели. Будучи по сути своей неопределенной сущностью, «правила приличия» грозят раствориться в сером мире неискренних заявлений, безразличия и лицемерия. В конце концов, в образцовом гражданском обществе атлантической цивилизации — Соединенных Штатах — половина населения не ходит на выборы. Гинер выступает против идеи «новых правых», что одни только формальная демократия и рыночная экономика способны обеспечить уважение к простым людям, автономию, право на частную жизнь и другие добродетели гражданского общества. Тем не менее, если его перспективы столь мрачны, какой смысл содействовать распространению такой веры в качестве основного средства возрождения Восточной Европы? Если ни одна форма государственной власти не способствует поддержанию свободы и права меньшинств, то становится трудно сделать что-то, помимо морализаторства, иногда в смысле попыток мочиться против ветра.

Но все не так плохо. Надеюсь, что, не впадая в вульгарное «панглоссианство», провозглашающее неизбежное или автоматическое улучшение, можно утверждать, что в идее и политическом развитии «гражданского общества» упускается нечто очень важное. Оно всегда было полемической метафорой, инструментом горячих споров, а не описанием.

²¹ *Civil Society: History, Theory, Comparison*, Ed. John A. Hall, Cambridge, 1995.

²² 'Civil Society and Its Future,' *ibid.*, p. 323–324.

И в мире после 1989 года оно подготовило основу для того, что, за отсутствием лучшего наименования, получило название «гражданского национализма». Я говорил ранее, что «гражданское общество» всегда пренебрегало дифференциацией, особенно в смысле национальности и «национального характера» или идентичности. Изначально использованное в борьбе против — с больших букв — Абсолютистского Государства, оно с успехом было поставлено на службу моральной критики правой и левой авторитарной государственности — левиафанов «этнического национализма» (включая фашизм) и коммунизма. И когда в 1980-х годах последний остался без штанов, рубашки и документов левиафана, а вместо него утвердился политика национальностей, «гражданское общество» внезапно превратилось в панацею: это великое атлантическое или западное лекарство от всех болезней, которое, при правильном его применении к востоку от Праги, гарантировало бы «переход» к демократии и рыночной экономике.²³

Идея заключалась в том, что «формальная», государственная и просто политическая и партийная демократия не в состоянии была обеспечить достаточную защиту от «национализма», который считался этническим, разделяющим, замкнутым на себе и отсталым, атавистическим, агрессивным и не слишком полезным. После впечатляющего краха пролетарского интернационализма появилась необходимость в иной, но более утонченной разновидности того, что марксисты некогда называли «буржуазным интернационализмом». Одной только формальной демократии недостаточно. Недостаточно и грубой фритредерской идеологии. Честолюбивый мультинационализм Европейского Союза, мягко говоря, далек от того, чтобы стать новой Мегаломанией, и ему нечего было предложить новым членам. Америка же находилась слишком далеко. Но всегда было «гражданское общество», «условия свободы» которого описывались в книге Геллнера.

Впоследствии его не раз критиковали за слишком большой акцент на экономике и согласие с его политическим противником Вацлавом Клаусом в том, что свободный рынок был основным условием свободы.²⁴ Но в этом нет ничего удивительно, поскольку «гражданское общество» по определению неопределимо. Не существует четкого или устойчивого теоретического разграничения между обществом (в требуемом «ассоциациональном» смысле) и экономикой или между обществом и политическим государством. В результате Геллнер оказался с чрезмерно экономи-

²³ Такое представление также согласуется с глубоко укоренившимися на Западе представлением о его общем превосходстве и развитости; см.: Adam Burgess, *Culturally Dividing Europe*, London, 1997. Он иронически замечает, что, хотя жители Восточной Европы заново открыли для себя «гражданское общество» (особенно в Польше), они признавали его недостаточно хорошим. Для сдерживания этнических демонов (и проч.) и преодоления унаследованной отсталости нужно было уделять больше внимания западным моделям гражданского участия и духа общности.

²⁴ См.: Charles Turner, 'Civil Society and Constitutional Patriotism?' *Democratization*, Vol. 4, no. 1, Spring 1997.

ческой интерпретацией темы. Объявив национализм опасным, а демократию недостаточной, он пришел к рынку как единственному гаранту.

Зимой 1993–1994 годов, когда «Условия свободы» вышли из печати, я часто бывал на кампусе Центрально-Европейского университета в Праге на Ольшанской площади, где был офис Геллнера. Для водителей, не говорящих по-чешски, одним из способов скоротать время в бесконечных пробках в час пик в Жижкове было прослушивание новостей на английском языке. Неизменной темой новостных сводок в 8.30 были каждодневные достижения неоллиберального режима Вацлава Клауса: успешные приватизации, проведенные в феврале, многообещающие жесты со стороны Брюсселя или НАТО, непоколебимость новой чешской кроны, западные визитеры в замке у Гавела и так далее. В эфире, который раньше был заполнен отчетами о выполнении плана и переходе к коммунизму, теперь говорилось – во многом в схожем тоне – о наступлении рынка и неуклонном движении Богемии к свободе. Рядом со зданием ЦЕУ (в прошлом профсоюзной гостиницы) начиналась зона узеньких улиц, которую я всегда считал «меховым» углом, где с раннего утра перед зданиями новых частных банков, несмотря на запрещающие знаки, парковались BMW. В упомянутой мною ранее критической статье Чарльз Тернер писал об этом:

Геллнер не больше других уважает мужчин в малиновых пиджаках с золотыми цепями на шеях и в белых носках, которые теперь довольные собой ходят по городам Восточной Европы. Но, возможно, сам вид этих людей разрывал еще более вычурную цепочку суждений, которая связывала добродетель с производством, наделяя производство добродетелью.

Надо признаться, я никогда не видел людей в малиновых пиджаках и белых носках, хотя, возможно, это было веяние моды. Более важно, что это также был голос гражданского общества и – без снобизма или фальшивого антиматериализма – его действительно можно считать слабым или недостаточным звеном в новой социальной ткани. Возможно, он был необходимым условием для демократической свободы и восстановления связей с более широким миром; и, в сравнении со старым чехословацким социализмом, казался меньшим злом. Швейк наверняка полюбил бы белые носки и BMW. Подобно хозяину квартиры, которую я тогда снимал рядом с одной из трамвайных остановок на улице Конеева, он легко бы мог превратиться из мелкого служащего в торговца недвижимостью. Но, вопреки уверениям теоретиков гражданского общества, я сомневаюсь, что этого достаточно для демократии или приближения к либеральному идеалу.

«Гражданский национализм»

В новой Чешской республике, как и везде, именно государство структурировало и создавало основу для существования в обществе гражданских объединений, хотя и, как и в случае с Шотландией, это делалось путем непрямых или опосредованных (или даже скрытых) процедур и инсти-

тутов. Неизбежная дифференцированность общества зависит от одинаково дифференцированного государственного или властного аппарата и никак иначе. Иными словами, порядок «гражданского» общества (в смысле «правил приличия», частной жизни, прав личности, групп или меньшинств, свободы инициативы и предпринимательства и т. д.) в долгосрочной перспективе зависит от соответствующей гражданской формы национальной идентичности. Последняя также может быть названа «национализмом», если иметь в виду, что «национализм» не всегда и везде означает в конечном счете этнический национализм.²⁵ Но я думаю, что это просто понятная концептуальная ошибка, вызванная антиимперской борьбой XIX столетия.

Это также слишком широкая тема, чтобы обсуждать ее здесь и сейчас. Вместо этого вернемся на родину этого понятия. Если сейчас и тогда в связи с «гражданским обществом» выказывалось определенное нетерпение или даже нетерпеливое раздражение, то причины этого следует искать именно там. Это область, к которой каждый имеет определенное отношение или общий эмоциональный интерес, и я здесь не исключение. Пристрастие к релятивизму никогда не заменит истину; оно только мешает ее поиску. В указанном ранее исследовании — «Автономии современной Шотландии» Линдси Паттерсон — эти доводы изложены достаточно четко. «Гражданское общество» вначале могло быть случайностью (счастливой или нет), но люди, впервые столкнувшиеся с этой случайностью, живут с ней уже два столетия. Наряду с «Пониманием Шотландии: социология безгосударственной нации» Дэвида МакКроуна,²⁶ книга профессора Паттерсон описывает историю и общество послефергюсоновской Шотландии с 1816 года и до настоящего времени в сравнении с другими малыми нациями. Эти сравнения вовсе не всегда не в пользу Шотландии — напротив, МакКроун и Паттерсон убедительно показывают, что шотландцы зачастую успешно двигались по своему «тихому пути» к процветанию. По крайней мере в рамках британской империи, которая сама по себе была ставшей уже достоянием прошлого случайностью истории, маргинальное «гражданское общество» расцвело без государственности и отдельной политической идентичности.

Однако продвижение по этому «тихому пути» не могло продлиться долго. Британский эквивалент французских послевоенных *trente glorieuses*

²⁵ См. об этом: Robert Fine, 'The "New Nationalism" and Democracy: a Critique of Pro Patria,' *Democratization*, Vol. 1, no. 3, Autumn 1994. У Файна вызывало опасение «облачение национализма в демократические одежды» такими мыслителями, как Майкл Игнатъефф, Юрген Хабермас, Юлия Кристева и Доминик Шнаппер. Но если все они ошибаются, то это значит, что «серый мир» Гинера уже наступил. На самом деле степень успешного «облачения» заметно возросла с 1980-х годов, и никаких признаков снижения не наблюдается. По оценкам, свыше 60 % членов ООН сейчас являются демократиями по крайней мере формально; в 1970-х годах этот показатель составлял 40 %.

²⁶ David McCrone, *Understanding Scotland: The Sociology of a Stateless Nation*, London, 1992.

вызвал воодушевление и пробудил стремление к свободе в том числе среди шотландцев. Политическую форму национализм обрел в 1960-х годах. Это было не просто желание выйти из состава Соединенного Королевства: на самом деле это было желание убежать от «гражданского общества» и обрести, наконец, политическое общество. Иными словами, на родине этой идеи ею были сыты по горло и хотели роста. Увы, правила приличия были совместимы с глубоко ненавистной зависимостью и коллективным бессилием, а также напыщенным убожеством бюрократии и «низовой политики» (и, по сути, неизбежно проявлялись в них). Оторванное от нормальной или «высокой политики», гражданское общество неизбежно вело к практически патологической клаустрофобии, рабской ограниченности и тягостной замкнутости на себе. Конечно, никто не говорит, что такие симптомы присущи одной только Шотландии; омерзительный «провинциализм» был общей чертой современного развития, часто осуждавшейся в литературе. Но добровольная провинциальность еще хуже — сиямское состояние нации, связанной с отказом от политики, затем воспринимаемое и иногда оправдывавшееся как своего рода судьба.

Художник Иэн Гамильтон Финли как-то, отвечая на вопрос Мелвина Брагга, бравшего у него интервью для телевидения, сказал, что он предпочел бы никогда не вспоминать о Шотландии, потому что она висела у него «камнем на душе». Я бы добавил, камнем «гражданского общества». ²⁷ Апологеты этой идеи, возможно, правы, говоря о том, что сносная современность зависит от чего-то в этом духе: кому-то без него не выжить. Но необходимое условие никогда не бывает достаточным. Ни одно общество не может существовать само по себе и не может служить волшебной гражданской отмычкой к беспроблемной государственности. Люди могут желать дифференцированной гражданской идентичности; именно этого требует современная «политика идентичности», а также политизированная или государственная нация. Художественным ответом Финли был необычный культ гражданского национализма, основанный на графическом и скульптурном поклонении самому крайнему проявлению Великой французской революции — якобинству Сен-Жюста и Робеспьера. Это также миф страны, какую-то конкретную версию которого я не собираюсь отстаивать здесь; но он может быть предпочтительнее коперниковского мира «гражданского общества».

Перевод с английского Артема Смирнова

²⁷ Стоит отметить, что жизнь Финли в Ланаркшире того времени (1980-е годы) заметно осложнили мелкие преследования со стороны местных налоговых властей. Кажется, будто они всегда стремились осадить великого шотландского модерниста: принизить его до уровня кастрированного или слабополитического общества, в котором «гражданское» в конечном итоге стало означать окрик «не надо нам этой бессмыслицы!»